

Мемуары шахматиста

ВИКТОР КОРЧНОЙ

**ШАХМАТЫ
БЕЗ
ПОЩАДЫ**

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОЛИТБЮРО, КГБ,
СПОРТКОМИТЕТА

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВЛАДИМИРА
ВОЙНОВИЧА

Москва
Астрель • АСТ • Транзиткнига
2006

Игорь Корчной

В РУКАХ ИНКВИЗИЦИИ

Современные террористы берут заложников ради выкупа. Официальные советские власти брали заложников, чтобы посеять страх среди людей, желающих уехать из «коммунистического рая». Сын Корчного — Игорь подал заявление на выезд в Израиль. Его арестовали и осудили на два с половиной года лишения свободы, формально — за уклонение от службы в армии. Эта акция была использована как средство давления на отца, игравшего матч на первенство мира с Анатолием Карповым.

О пребывании в советских застенках рассказывает сам потерпевший.

Серый день какой-то выдался. Середина ноября 1979 года, праздники закончились. Мать уехала, уведя за собой «хвост». Непонятно все же — то ли на самом деле за нами охотятся, то ли дурака валяют. Как всегда, мать объявилась конспиративным телефонным звонком: «Ребята! Я у подружки забыла зонтик и собираюсь за ним заехать. Буду у вас через полчаса». А вообще-то надое-ло скрываться. Полтора года метаний по стране. Под конец я почти и не прятался. Жил в доме МИД на Фрунзенской набережной, где отставные шпионы сидели на скамеечке перед входом и следили за всеми, кто входит и выходит.

Звонок. Наши друзья несколько секунд переговариваются с теми, кто за дверью,



Игорь Корчной

после чего, побледнев, помогают мне забраться в стенной шкаф и возвращаются в прихожую, чтобы открыть дверь. Устраиваюсь в шкафу поудобней. Вдруг дверь его открывается — предо мной здоровенный мент. Все. Отбегался.

КПЗ. Дощатый настил, никаких одеял, матрасов — лежи, как лежится. Лежу. Все время клонит в сон — защитная реакция. Но толку мало: что бы ни снилось, все — воля. А в последний момент перед пробуждением мысль: «Кончилась воля. И надолго».

Друзья-то домашним сообщат, но никто не знает, где я, наверняка будут психовать. Странно, даже есть неохота. Уже пошли вторые сутки с 13 ноября, когда меня задержали. Сплошная неопределенность.

Щелкает засов на двери, входят двое. Один — длинный, как Никита Михалков в фильме «Свой среди чужих», таскавший за собой пацаненка. Даже шляпа похожая. Другой — не пацаненок, хотя и ростом не вышел. Фингал под глазом. Ну, сейчас начнут мутузить.

«Если не будешь дергаться, все будет нормально. Нас прислали за тобой из Ленинграда», — говорит «Михалков». Как-то даже полегчало. Полтора года спустя после того, как пришлось бежать из Питера, я снова возвращаюсь домой.

Ленинградский вокзал. Всюду группки призывников. Мы по путям, «с черного хода», пробираемся к питерскому поезду. Меня пристегнули наручниками к мужику с подбитым глазом. Мерзкая штуковина: сжимает при каждом неловком движении и обратно не отпускает. «Не мог-

ли бы вы ослабить наручники, пожалуйста?» Ослабляют. Мой «напарник» то ли стоически терпит, чтобы не злить начальство, то ли его наручники не сжимаются (что вряд ли). Еле успеваем перейти пути перед локомотивом. «Интересно, если напарника затянет, то и мне ведь мало не покажется. Бр-р-р!»

Наконец, доходим до перрона. Ух ты! «Красная стрела» — мой любимый поезд. Ну вот, приеду с музыкой — под глиеровский Гимн великому городу. Двухместное купе. Я сплю на верхней полке, мужики вдвоем сидят на нижней. «Парень, ты сибарит? Тогда трудно тебе будет». Даже не кришнаит. И чего пристали?

Утром, как и ожидал, — глиеровский гимн. Потом — в «Волгу», и по Невскому проспекту — на Васильевский остров. В КПЗ. Как бы фигово ни было, но появилась мысль: «Все, дома». Почти полтора года я не был в Питере.

* * *

Началось все в июле 1976 года. О том, что отец остался в Голландии после шахматного турнира, мы с матерью услышали по «Голосу Америки». Ощущение было, как при прыжке с вышки в бассейн: захватило дух, и страшновато. При этом мысль: «Может, сейчас удастся быстрее достичь намеченной цели?»

Жить в Союзе мне не хотелось лет с двенадцати. Ощущение полной бессмысленности и безнадежности жизни в нем появлялось регулярно. Уже в девятом классе я попросил отца, как человека, бывавшего за границей, составить таблицу трудностей и перспектив учебы на Западе и в СССР. Думать тут особо было не о чем. Точные науки мне нравились всегда, да и на Западе, о котором я столько мечтал, толку от них будет больше, чем от других.

Весной 1976 года в семье появились отвалы настроения. Отец тайком от матери забирался ко мне в комнату, чтобы надиктовывать на магнитофон свои «антисоветские» мемуары. От меня он своих настроений не скрывал. На всякий случай, давал информацию, с кем на Западе войти в контакт, если с ним что-нибудь случится. Мать же рассказывала, что у отца есть возможность поехать тренером одного из европейских шахматных клубов, так что можно будет просчитать, как бы всем оказаться на Западе. Бабушка же говорила, что если отец откажется от очередного претендентского цикла, в обмен на это нас могут всей семьей выпустить в Израиль; там видно будет, куда поехать дальше.

А тут — такой сюрприз! С одной стороны, глава семьи перескочил через барьер. Но семья-то осталась за этим ба-

рьером. Еще ни к одному невозвращенцу родных не выпускали. Правда, времена уже были не сталинские, но гэбуха спуска не давала.

Одним из первых пожаловал представитель партийной организации — искать партбилет. Я так понял: сбеги отец на Запад с партбилетом в кармане, этому партийцу оторвали бы голову.

Потом появились товарищи в штатском. Вели с матерью доверительные беседы: «Видать, оступился ваш супруг. Бывает. Но мы готовы простить. Уговорите его вернуться». Еще чего! Вот так сразу все бросим и начнем уговаривать! Наш королевский пудель, Утан, каждого гебиста встречал, как друга. То есть, как и всех остальных друзей и знакомых. И как собаке объяснишь, что гэбуха — это гэбуха и хвостом перед ней лучше не вилять?

Лето, приемные экзамены на носу, жарыща. Для забавы я, пользуясь линейкой, как контуром, вывел на белом листе бумаги тонкой карандашной линией «Help!» и повесил снаружи на двери. Вечером к нам должен был придти знакомый и поклонник отца. Ждем. Никого. Наконец, телефонный звонок: «У вас обыск?» «Почему обыск? Все в порядке». Оказалось, подойдя вплотную к двери (а разглядеть надпись можно было только вблизи), он увидел этот самый «хелп» и не

на шутку перепугался. Но все-таки потом позвонил.

Начал сдавать экзамены в Ленинградский Политехнический институт. Пока я сдаю, мать, как и многие родители, сидит в вестибюле. Переживает. У нее для этого веские причины. Рядом с ней женщина, тоже вся на нервах: «Волнуюсь — у сына пятый пункт. А у вас что?» — «У нас еще хуже». — «Что еще может быть хуже?» Таки хуже.

Экзамены сдал на пятерки. Очевидно, приказа заваливать не было. Уровень подготовки (физматшкола, а перед экзаменами — занятия по математике и физике с друзьями, исполнявшими роль репетиторов) позволил получить высокие баллы безо всяких натяжек. Проявлять же подлую инициативу никто из экзаменаторов не захотел, что в то время бывало не так уж часто.

В начале учебного года — собеседование с куратором группы: «Вы — Игорь Корчной?» «Да». «Сын невозвращенца Корчного?» «Да». «Вы, надеюсь, понимаете, что у вас нет никаких перспектив для карьеры здесь?» Видимо, не осознает, что укрепляет мое нежелание оставаться в Союзе, подсказывает, что делать. Перспектив, конечно, не было никаких, да я и не собирался задерживаться в СССР. На лекции ходил нечасто, да и занимался тоже не Бог весть как.

Начались четвертьфинальные матчи претендентов. Отцу выпал Петросян. Матч — в итальянском городке Чокко. Курс «Истории КПСС» у нас вела стервозная тетка, бдительно следившая за посещаемостью своего предмета, за мной — особо внимательно. Как-то раз, когда я отсутствовал (мне потом рассказывали сокурсники), в начале лекции тетка внимательно осмотрела зал. «Где Корчной?» И кто-то из остромуцев с задних рядов ответил: «Корчной в Чокко!»

Весной 1977 года мы получили приглашение от пятиуродной тетушки из Израиля. Для нас это была единственная реальная возможность покинуть СССР. Конечно же, в ОВИРе и в КГБ прекрасно знали, куда и к кому мы едем. Но нам сказали: необходимо приглашение из Израиля.

Начался сбор документов. Одну из нужных справок Политех не давал. Пришлось подавать заявление об отчислении из института. Покинул я его без особого сожаления. Одно было неприятно: Политех давал отсрочку от армии, но какая армия, когда уже есть приглашение и нет никаких причин отказывать в выезде? Ну, в 18 лет оптимизма не занимать. Многие же знакомые, помнившие сталинские времена и хрущевскую «оттепель», грустно качали головами и говорили, что

впереди еще много препятствий. Многие считали решение отца остаться на Западе вот так, с бухты-баряхты, весьма рискованным для семьи. Другие утверждали, что можно было бы уехать тихо, официально, всей семьей — в обмен на отказ от участия в претендентском цикле 1976—1978 годов. При подаче документов с нас взяли подписание: мы уведомлены, что при выезде из СССР мы теряем советское гражданство. Подписывая бумажку, мать расплакалась. Выходя из ОВИРа, я ей сказал: «Зря ты так! Не плакать надо при потере советского гражданства, а радоваться! Сама поймешь, когда будем уезжать!»

Пока суть да дело, начали учить немецкий. Отец остался в Голландии, но потом переехал в Германию — в любом случае, немецкий не помешает.

Пессимисты оказались правы. После нескольких месяцев ожидания пришел вызов в ОВИР. Сидевшие там ответственные товарищи сообщили, что нам в нашей просьбе отказано. «Почему?» «Ваш отъезд нецелесообразен». «Что же теперь делать с институтом, из которого пришлось уйти? И с армией?» «Пусть сын осудит отца в прессе, откажется от попыток покинуть Советский Союз — и мы с радостью примем его обратно в институт. Иначе — увы. Ведь желание учиться в системе высшего образования нашей

страны несовместимо с желанием ее покинуть». «А то, что теперь грозит призыв в армию — это совместимо с желанием покинуть страну?» Ответственные товарищи развели руками. Ведь в этом и состоял их замысел. Из института в то время в армию призвать было нельзя. Армия же закрывала путь к отъезду. Было очевидно, что разыгрывалась простенькая комбинация: после армии навесить секретность и надолго закрыть возможность эмиграции. Не подкопаешься: секретность — она и в Африке секретность!

Осенний призыв 1977 года я проскочил. Теперь, когда появилось много свободного времени, начал учить английский. Германия Германией, а ехать надо в Штаты! Стал ходить в группы «погружения», читать бестселлеры на английском (сначала со словарем, затем довольно быстро — без). К весне 1978 с английским все было в порядке.

В мае 1978 года грянуло: меня вызвали в военкомат и вручили повестку. Оставаться дома было нельзя — а вдруг придут и силой потащат на призывной пункт? За последний год среди наших друзей и знакомых появились отказники, годами ожидающие разрешения на выезд из СССР и знающие все «приколы» властей.

Игра в прятки началась в самом Ленинграде — скрывал-

ся я у знакомых сначала в Купчино, потом — на Выборгской стороне. Главное было — не появляться на Васильевском острове, где я жил. Искали меня, похоже, без особого усердия. В июне я даже решил снова наведаться домой. В ту же ночь раздался звонок из Швейцарии. Отец — ну как не поговорить!? На всякий случай, сразу после этого я опять ушел из дома. А в пять часов утра, по рассказам матери, в нашей квартире раздался звонок: пришли из военкомата. За домом следили.

Через несколько дней мы с бабушкой уехали в деревушку в Латвии, от греха подальше. В июле 1978 года в Багио начался матч на первенство мира по шахматам, и я по вечерам, выходя на прогулки, слушал сообщения о нем по Би-Би-Си, прижав к уху коротковолновый приемник.

Позже я переехал к Эстонии, в университетский город Тарту. Там я провел месяц с небольшим у наших друзей, преподавателей тартуского университета. Супруга, Лариса Ильинична Вольперт была трижды чемпионом СССР по шахматам среди женщин, входила в сборную Союза. Когда-то они вместе с отцом играли в одной команде, много общались на шахматной почве, и мать, перебирая возможности спрятать меня, не ошиблась.

Жил я в рабочем кабинете хозяина дома, где все стены заполняли книги — проза, поэзия, история. Протянешь руку — тут тебе и Пастернак, и Ахматова. Заодно я еще бессовестно пользовался тем, что хозяин, Павел Семенович Рейфман, был вынужден заходить в свой же кабинет. Слово за слово — и получалась не менее чем часовая беседа (скорее, монолог, так как я, разинув рот, слушал) об истории российского и советского государства, политике, журналистике и цензуре. Лариса Ильинична, заядлая пушкинистка, тоже с удовольствием просвещала заезжего неуча разговорами о Пушкине, Стендале и связях русской и французской литературы*.

В Тарту чувствовал себя как бы немного на Западе. Многие говорят не по-русски, да и атмосфера не такая совковая, как в остальной стране.

Наконец, приехала мать, и мы стали собираться в Москву. Павел Семенович посоветовал дать пресс-конференцию для западных СМИ, сообщил адрес своего московского знакомого, Жени Габовича.

В Москве я остановился у друзей матери по работе, Пейсиковых, а сама мать — у своих институтских однокурсников,

* Примечание отца: С Ларисой Вольперт я советовался перед бегством из СССР в 1976 году.

Али и Марка. После долгих колебаний она решилась-таки пойти в гости к Габовичу. Тот сразу же обзвонил всех знакомых зарубежных корреспондентов и назначил дату пресс-конференции. У бедной матери аж челюсть отвисла. Но делать нечего — надо выступать. Естественно, первый блин получился комом. В нескольких километрах от места встречи с журналистами я узнал по «голосам», что пресс-конференция состоялась, что у нас все в порядке (интересно, а я от кого тут, как зайчик, бегаю?), а выступила мать лишь для того, чтобы подтвердить — да, мы желаем выехать, но нас не пускают. Все.

Расслабившись после встречи с журналистами, мать забежала к Але с Марком, а потом решила отправиться ко мне. Хорошо, что Марк ее сопровождал. В пустынной развороченной клумбе рядом с домом друзей копались двое «садовников». Марк посадил мать в свою машину — и у машины тут же появился «хвост». Скорее всего, КГБ не столько искало меня, сколько пыталось проследить, с кем из западных журналистов мать попытается вступить в контакт, чтобы по возможности этому помешать. Стало ясно, что ей лучше вернуться в Питер. По дороге на Ленинградский вокзал «Запорожец» Марка заглох на Ленинском проспекте. Начала обра-

зовываться пробка. Недовольные водители, матерясь, высказывали из машин. Из двух «Волг» следовавших, как выяснилось, за машиной Марка, вылезли несколько человек в штатском. Они прикрикнули на опешивших водителей, помогли запустить «Запорожец» и, уже не прячась, эскортировали мать до самого поезда на Питер.

Что делать дальше — было неясно. Через знакомых мы выходили даже на дочь Брежнева (было известно, что она не гнушалась взятками и могла многое проверить), но получили ответ: наше дело — политическое, зашло слишком далеко, и помочь она не может. Как потом выяснилось, и Карпов перед матчем в Багио просил в верхах, чтобы нас выпустили. К тому времени отец уже был с Петрой Лееверик, и Карпов с советниками считали, что выпустить семью перед матчем или во время его — лучший способ сорвать игру противника. Но и Карпову ответили отказом, посоветовав справиться своими силами. Получалась оригинальная ситуация — власти считали, что я обязательно должен отсидеть, а потом можно будет разговаривать. На их условиях... Я же надеялся, что удастся выехать до того, как посадят. Так прошло почти полтора года. По доходившим до меня сведениям, в своих выступлениях Александр Рошаль говорил: «Мы

знаем, где сын Корчного, и когда потребуется — арестуем».

Рошаль оказался хорошо осведомлен. Приближалась жеребьевка матчей претендентов следующего цикла, и тут-то меня арестовали. Как я подметил, часто пакости со стороны властей были приурочены к какому-нибудь событию шахматной жизни с участием отца. То жеребьевка, то какой-нибудь матч против совков. Арест был и мстью невозвращенцу, и превращением меня в заложника, угрозой, что в случае необходимости со мной могут сурово расправиться.

Итак, круг замкнулся. Я снова в Питере, на Васильевском острове, в отделении милиции, километрах в пяти от дома. Мать с бабушкой наверняка не знают, что я рядом. Волнуются.

Сняли отпечатки пальцев («поиграли на пиано»). Пришел «воронок», набитый под завязку, и меня повезли в Кресты. Наконец, очутился в камере. Ничего камера, всего шесть человек на четыре места. Окна, правда, закрыты двумя рядами наклонных металлических пластин — так, что даже в щелку не глянуть, как там снаружи. Через две недели после ареста по радио сообщили о том, что «ограниченный контингент» советских войск вошел в Афганистан. Да, в тюрьме-то становилось безопаснее, чем в армии!

Суд состоялся через два месяца после ареста. Зал был полон «представителей трудовой общественности». Большинству друзей, пришедших на суд, пришлось остаться в коридоре и на лестнице. Приятно было увидеть всех их после долгого отсутствия.

Что же до суда, то надеяться было не на что. Вопрос был лишь в том, какой срок мне дадут. Оказалось — два с половиной года при максимуме в три. Учитывая, что за несколько лет до того меня «прикрепили» к военно-морскому флоту, где надо служить три года, я «сэкономил» шесть месяцев.

«Кресты» были промежуточным этапом между волей и лагерем. Хотелось поскорее выбраться из тюрьмы, не сидеть весь день в четырех стенах. Тем более, тюрьма начала переполняться: в преддверии Олимпиады-80 Ленинград стали зачищать от бомжей и «прочих элементов», способных вызвать у иностранных гостей «неправильное» впечатление от СССР. В камерах на четыре человека теперь размещали по двенадцать. Когда в марте 1980 года я услышал: «На выход, с вещами!», то висел в самодельном гамаке между двумя верхними койками. Больше добавлять народ в камеру было некуда.

Выдернули меня ночью, привезли на вокзал и погнали вместе с другими заключенны-

ми по путям, к столыпинским вагонам. С обеих сторон — злобный лай немецких овчарок охраны (собак я люблю, но с тех пор не выношу эту породу). Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Да еще заставили, придурки, издеваясь над нами, часть пути пройти на корточках. Начальство решило, что незачем меня оставлять в городе, где нас многие знают и нам будет легче общаться с волей. Лучше отправить меня подальше. Сначала — в Свердловск, в пересыльную тюрьму, потом — в Курган и, наконец, в лагерь у деревушки с обманчивым названием: Просвет. Сдернули меня аккурат перед четвертьфинальным матчем претендентов. Загнали на 3000 км от дома, где вряд ли попадется кто — либо из знакомых. Да и вообще, в глубинке москвичей и питерских не любят.

В первое утро в лагере я проснулся от хитов «Бони М». Мороз и солнце, день чудесный... «Новобранцев» выгнали на уборку навалившего накануне снега, и все — под шлягеры, которые я любил слушать на воле. Работать меня определили в отряд №1, считавшийся привилегированным, так как там обитала лагерная обслуга — повара, банщики. Все лагерные интриги и борьба за место в этом отряде меня не касались: я знал, что в моем случае на все будет воля на-

чальства, или лагерного, или районного, или вообще московского. В первое время любопытные офицеры постоянно приходили в отряд, посмотреть на диковинного зверя. Один даже решил провести со мной воспитательную беседу, из которой я запомнил одну фразу: «Наша система — система мира. Это значит, что весь мир должен быть советским». Пока что меня решили не трогать. Как заложник, я должен был оставаться в хорошей форме. По крайней мере, до приказа сверху. Назначили меня дневальным в лагерной школе, «шнырем» на блатном жаргоне. Вся работа состояла в том, чтобы не высовываться, тихо сидеть в школьной каморке.

Наконец-то до меня начали доходить письма с воли. Каждый день — письмо от матери, каждый день — письмо от бабушки, а также частые письма от друзей и подруг. Ну, и отвечал я тоже с такой же частотой. Письма я, по наивности, часто бегал получать в штаб, чтобы не ждать, когда их принесут в отряд. Как я потом понял, зэки, многие из которых тоже бегали в штаб, решили, что я делаю это для того же, что и они — чтобы «стучать». Таким образом, «наездов» на новичка не было. К тому же, задним числом я узнал, что перед моим прибытием был проведен инструктаж:

заложника до особого приказа не трогать!

Так продолжалось до полуфинального матча претендентов 1980 года. В Москве, видать, решили, что пора «закручивать гайки» и дали приказ держать меня построже. Пришлось распрощаться с первым отрядом и месяц рыть канавы, таскать доски на строительстве небольшой швейной фабрики внутри зоны. Посыпались взыскания: в неположенное время находился в неположенном месте, форма одежды не та, еще что-то. Начальство решило выслужиться. Но до натравливания на меня эков дело не дошло.

Через месяц меня определили на ту самую швейную фабрику, которую я перед этим помогал строить. Времени отвечать на письма, продолжавшие идти с той же частотой, стало меньше, но переписка позволяла мне абстрагироваться от окружающей реальности, и я продолжал ее, несмотря на трудности. Появились и друзья. Первым был Арнольд Спалинь, один из руководителей «Адвентистов седьмого дня», севший в 1979 году по «делу Шелкова». Каждый день мы с ним встречались и вели беседы — о религии, политике и вообще «за жизнь». К середине срока вокруг каждого барака поставили ограждение с будкой на выходе. Покидать территорию такой

локальной зоны можно было лишь в составе отряда или по пропуску. Мы все равно ухитрялись общаться, несмотря на эти ограничения. Я устроился разнощиком прессы для отряда, что позволяло выходить за пределы локальной зоны и иметь «отмазку» на случай, если заловит патруль: шел в библиотеку за прессой.

Начальство опыта с «политическими» почти не имело, поэтому иногда удавалось нахальным напором избежать наказания. Как-то в жаркий летний вечер я с приятелями вышли перекурить на крыльцо швейной фабрики и нарвались на патруль. Всех повели на вахту. Причина? Нарушение формы одежды. На швейной фабрике во время рабочей смены все были одеты в голубые рубашки. На зоне же должны были ходить в черном. Крыльцо — это уже не фабрика, а зона. Ребята матерились, ожидая лишения права на посылки и бандероли. Я попросил бумагу и ручку, чтобы написать объяснительную записку: «По сообщению курганского метеоцентра от..., сегодня стрелка термометра перевалила за 30 градусов вследствие антициклона, пришедшего... » и т.д., и т.п., на две страницы мелким почерком, с упором на отсутствие необходимой вентиляции в швейном цехе и падающую из-за этого производитель-

ность труда. Дежурный на вахте выругался и послал всех по-дальше. Связываться с писакой ему явно не хотелось.

К началу матча на первенство мира в Мерано обстановка на швейной фабрике стала накаляться. Количество отрядных прибалтненых, пользующихся благоволением начальства, отлынивающих от работы, сильно увеличилось, а план надо было выполнять. Начали мордовать остальных, работающих, чтобы те вкалывали за двоих-троих. Со «швейки» пора было сматываться. Жаловаться на конкретных людей мне не хотелось, но требовалось что-либо предпринять. В самый разгар смены я ушел с рабочего места, пошел на вахту и стал писать заявление: «В связи с травлей, сознательно развязанной лагерным начальством, я вынужден отказаться от работы на швейной фабрике». Естественно, все это на двух страницах, с пространственным изложением международной обстановки.

В тот же вечер меня перевели в штрафной изолятор на две недели. 250 граммов хлеба каждый день, плюс через день — «горячая пища» (подогретая вода). Письма от меня идти перестали, на воле поднялся переполох, дошедший аж до западных СМИ. По истечении срока, весь в нарывах, но довольный, что снова вышел на свежий воздух, я вновь оказался в

отряде №1, и вновь — школьным «шнырем». Работать в этот раз пришлось на самом деле — мыть полы, парты, доски, давать звонки и относить в штаб классные журналы с пометками о посещаемости. Среднее образование было обязательным, так что по прибытии на зону, если кто, не сообразив, говорил, что у него неполное среднее образование, ему в дальнейшем приходилось это самое «неполное» завершать, посещая школу каждый день после работы. Времени на что-либо еще не оставалось. Если кому надо было прогулять один или несколько уроков, была возможность договориться со школьным «шнырем» за некоторую «мзду». «Шнырь» перед тем, как отнести журнал в штаб, всегда мог поставить галочку о присутствии. Не я это придумал, но отказываться от таких преимуществ тоже не собирался. Появилось в изобилии курево, стало лучше питание, в бане теперь мылся не раз в неделю с отрядом, а когда захочу. На заводе зоны, делавшем запчасти для бронетранспортеров, заказал себе гантели — естественно, в обмен за неотмеченные несколько прогулянных уроков. В столярной сделали мне бирку. С одной стороны ее — все, что положено по правилам (фамилия, инициалы, номер отряда), но по-английски. С другой стороны — то же самое, но по-русски. Гуляю по

зоне с английской биркой. Как только вижу патруль — отгибаю проволоку, и бирка переворачивается «русской» стороной. В таких условиях прошли последние восемь месяцев до освобождения.

Матч в Мэрано закончился для отца неудачно. Начальство ехидничало. Как-то раз один из лейтенантов подошел ко мне на просчете: «Ну что, Корчной, продул твой папаша!» — «От этого у вас колбаса в магазинах не появится!» — ответил я ему. И ничего этот паразит сделать мне не мог. Замначальника по режиму, отправивший меня в штрафной изолятор, за свои фокусы вылетел от нас на зону для малолетних преступников, что являлось понижением. Москве лишние скандалы были не нужны, особенно сейчас, когда цель была достигнута: Корчной не стал чемпионом мира.

Освободился я в середине мая 1982 года и через два дня был уже в Питере. Надо получать паспорт. Иду в военкомат за какой-то справкой, без которой его не выдадут. Большая комната, полно народу. За одним из столов сидит на вид приличный мужик, в кожаном пиджаке. Вручает мне повестку в армию на ноябрь месяц. «Так я уже сидел за отказ, а за одно преступление два раза не судят».

Мужик, казалось, сильно разнервничался, разорался: «Ах,

ты, такой-сякой, не хочешь в армию? Так мы тебя в бараний рог скрутим! Моя бы воля — я бы вообще таких, как ты, расстреливал! А преступление-то уже новое — вот и рецидив!» Поорал, поорал, увидел, что на нас никто не оборачивается, и, перейдя на шепот, сказал: «Я на днях слушал интервью вашего отца по «Голосу Америки». Надеюсь, скоро вы сможете уехать в США. Желаю удачи». Каково, а?

А я был полон решимости: если уж будут судить, отсижу новый срок, а в армию не пойду, возможность уехать на Запад тем самым себе не отрежу.

В начале июня нам, наконец-таки, дали разрешение на выезд — естественно, в Израиль. До Израиля мы, конечно, не доехали, а, прилетев в Вену самолетом Аэрофлота, сразу же направились в Цюрих на самолете Swissair. Прямой билет Ленинград — Цюрих нам в питерском аэропорту продать отказались: властям надо было как-то соблюсти свои совковые приличия.

На этом совдеповский период моей жизни закончился. Еще несколько лет мне снились кошмары: я вновь за решеткой. Просыпался в холодном поту. Затем неволя стала сниться все реже и реже, а лет через пять подобные сны вообще прекратились. Я привык к свободе.